

Анна Бердичевская

Сарабанда

Памяти пианиста Юрия Агафонова

14 апреля преподаватель музыкальной школы по классу фортепиано Николай Янович Гус шел на занятия и думал о предстоящем дне. Школа была старая, недалеко от Арбата. Еще на дальних подходах к серому мрачному дому прохожие, редкие в узком переулке, начинали вертеть головами и прислушиваться. Им чудилось, что они входят в зал оперного театра после антракта, когда в оркестровой яме вразнобой разминается оркестр. В сыром и весеннем, никак не театральном воздухе вдруг гобой захнычет гундосо, а поверх арфа раскатисто и мелодично рассмеется, скрипка отвратительно взвизгнет, и литавры грянут ликующе... Но Гус за двадцать с лишним лет так привык к ежедневным этим воплям, что почти перестал их различать. Вот еще что: чем ближе он подходил к школе, чем громче они становились, тем меньше он их слышал... Странно.

Николай Янович жил возле огромного зоосада, и нередко под его окном за открытой настежь форточкой возникало нечто подобное. Случались и особые ночи, когда крики животных из вольеров будоражили и не давали спать не только учителю музыки, но и всей округе, и даже небесам – в них среди облаков что-то мерцало и вспыхивало, а то и неожиданный дождь гулко проливался... В первые годы после развода-разъезда с женой эта какофония часто будила его, но еще чаще проникала в сон, и тогда ему снилось, что он опаздывает в школу, где заждавшаяся музыка бьет копытами, мычит и гогочет... А вот теперь громкие внешние звуки почти ушли из его жизни, так что он порой пугается, не теряет ли слух. Проверялся несколько раз у врача, вроде все в порядке...

Сегодня его осенило. Видимо, именно громкие, назойливые, «чрезмерно взыскующие» звуки стал он попросту пропускать мимо ушей. Все, что вопит, – неважно, все это неважно.

А что же важно?..

Николай Янович перебирал намеченные на сегодня встречи с учениками разных классов, от второго до пятого. Задания, которые они от него получили, он вспоминал не именами композиторов, не названиями пьес и этюдов, не номерами нотных страниц... он вспоминал их напрямую – музыкой. И учеников он помнил не по фамилиям, а больше по их ушам, розовым или бледным, оттопыренным или аккуратно прижатым, а также по косичкам, челкам и вихрам, маячившим над клавиатурой. И, конечно же, помнились ему разнообразнейшие кисти рук, и особенно пальцы, не попадавшие по черным клавишам, выбивавшиеся из ритма, разрывавшие музыку и замиравшие в испуге от...

Гус вдруг останавливается посреди Большой Никитской, пожимает плечами и говорит именно этим, вдруг им увиденным, испугавшимся и остановившимся кистям рук:

– Грабли!

Говорит вслух. Замечает это, обиженно глядит по сторонам, как бы ожидая сочувствия у мокрых домов и спин прохожих. Не дожидается и идет дальше... Да, он знает за собой кое-какие странности. И еще он иногда подозревает, что ученики зовут его гусем. Так Николая Яновича (Коленьку) действительно дразнили. Наверное, и его отца Яна, и деда Станислава, и прадеда Сигизмунда тоже... Но уже давно никто его никак не дразнит. Он старый скучный строгий человек, ничуть не похожий на гуся. Скорее уж на небольшого облезлого дятла с твердым носом... Нет, и на него не похож. Сходству с дятлом мешают большие и широко поставленные глаза, светлые, повторяющие цвет неба в любую погоду... только не в безоблачную, не в солнечную. В глазах Гуса с юности стоял некоторый туман, голубая дымка, а теперь и вовсе – бесцветная облачность. Бывает (очень редко), когда он сердится и краснеет, облака в его глазах сгущаются в тучи. Но молния сверкает редко.

Есть все же один ученик, которого он знает не по ушам, а по фамилии. Ти-мо-хис... С самого начала эта фамилия произвела

на Гуса странное впечатление. *Тимохис из Губахи* – так этот новый мальчик был представлен ему впервые.

Прошлой осенью мальчика привела в класс завуч школы. Стоял ненастный, со снегом октябрь, набор новых учеников давно миновал, и тут вдруг... «Надо взять, – негромко и значительно произнесла завуч, склонившись над Гусом. – Извините, что прервала урок, мальчика еще предстоит оформить в интернат, а то ему спать сегодня будет негде... Уверяю, это уникальный случай...»

В классе стояло два рояля, за тем, что у окна, сидела смуглая кудрявая девочка пятиклассница, очень хорошенькая, и рассматривала новенького. Который не обращал внимания ни на нее, ни на что вообще, стоял расхлябанный и безучастный.

– Слава, – окликнула мальчика завуч, – подойди.

Ученик сделал шаг в ее сторону. Она погладила его по голове и сказала с некоторым нажимом, подчеркнуто-значительно:

– Вот, это наш Тимохис из Губахи.

Мальчик смотрел в окно. Там сыпал не по-осеннему уверенный матерый снег. А в доме напротив на единственном не застекленном балконе под снежной канителью стояла пальма в кадке. Наполовину сухая или померзшая, только три густо-зеленых, как будто рваных листа торчали упрямо.

– Слава! – снова окликнула мальчика завуч. – Ты будешь жить в интернате, частном, очень хорошем, для одаренных мальчиков и девочек, учиться, как и у себя в Губахе, в третьем классе общеобразовательной школы. А у нас, в нашей замечательной музыкальной школе, пока что мы записали тебя во второй класс. Посмотрим на твои успехи. Вот твой педагог по фортепиано. Его зовут Николай Янович Гус.

– Гусь? – Тимохис живо повернулся к педагогу, лицо его на миг просветлело. Он Николая Яновича *ясно увидел*, то есть даже взял, да и заглянул в него. Учитель выдержал.

– Моя фамилия Гус-с, – поправил он ученика, просвистев двукратное твердое С. – Впрочем, зачем тебе?.. Зови меня просто по имени отчеству.

Мальчик перевел взгляд на свободный рояль.

– Я сыграю, – внезапно сказал он. – Разрешаете?

– Нам пора в интернат... – начала было не разрешать завуч.

Но Тимохис, уже открывший крышку рояля, не оборачиваясь, сообщил:

– Я быстро...

И тут же он, едва присев на табурет, сходу в невероятно бойком темпе сбацал на рояле «Танец маленьких лебедей». Как-то странно, как деревянными палочками на ксилофоне. И не полностью. А типа «один куплет». После первого «пара-пара-рам», завершающего основную тему, Тимохис из Губахи приостановился, чтоб, не убирая рук с клавиш, сказать:

– А теперь – обратно...

И в том же несусветном темпе, словно опасаясь, что прервут, «прокрутил» маленьких лебедей задом наперед. Он остановился на первой ноте как на последней.

В «обратном направлении» Чайковский прозвучал неузнаваемо и даже возмутительно. Но Гус каким-то образом и узнал, и понял – сыграно безукоризненно точно, с попаданием во все клавиши... Мальчик закрыл крышку, встал с табурета и снова уставил взгляд в снегопад, за окно, в направлении кадки с пальмой.

Завуч глубоко вздохнула, а Гус с интересом рассматривал мальчика. Его кисти рук вот уж точно не были граблями. И в то же время, как лапы у совсем юного щенка крупной породы, они казались не по размеру, порядком были великоваты для второклассника... и третьеклассника. Пальцы длинные, нервные и сильные. Ногти, похоже, обкусаны... Николай Янович задумался невесть о чем.

– Ну так что, мне идти одеваться? – как-то неожиданно спросил Тимохис.

Завуч спохватилась, вспомнила про интернат.

– Иди-иди. И подожди меня у гардероба, – сказала она.

Когда мальчик вышел, она снова склонилась над Гусом:

– Удивительный случай, нельзя было не взять... – на этот раз голос ее звучал довольно растерянно. – Понимаете, в этой Губахе шахты, на одной был взрыв, даже по телевизору в новостях... – завуч торопилась все-все объяснить. – У мальчика никого не осталось из взрослых, а он талант... ну, правда, необычный. И кто-то из владельцев шахты решил принять в нем участие...

– Хорошо-хорошо, – сжалился над нею Гус. – Пусть занимается.

Завуч ушла вслед за Тимохисом, и Николай Янович вспомнил о смуглой девочке, к которой относился особенно, – она была особенно способной его ученицей. Учитель увидел, что девочка, уткнувшись в свои ноты, перелистывала их задом наперед. И сразу догадался: «Прикидывает, сможет ли сыграть своего Брамса от конца к началу...». И еще он подумал не без ехидства: «Ну вот, поздравляю вас, госпожа завуч, в школе начинается эпидемия игры на фортепиано шиворот-навыворот»...

Все это было в октябре. За полгода никаких внешних перемен в жизни школы или самого Гуса не произошло. И эпидемии имени Тимохиса не случилось. Ученики Николая Яновича даже попарно редко встречались в фортепианном классе, а все вместе собирались только на занятиях по сольфеджио или на хоре. Почти никто не узнал об «уникальных способностях» Тимохиса из Губахи и не пытался повторить его аттракцион, проделанный с Чайковским. Смуглая пятиклассница, может, и попробовала повернуть тот же фокус с Брамсом, но попытка была, видимо, неудачной, и вообще, осталась тайной... Девочка она была гордая. Она была... учитель знал, но вечно забывал неуклюжее немецко-латинистое слово*, недавно стремительно вошедшее в разговорный язык, – *перси*... еще чего-то и еще как-то... *нистка*. Николай Янович освоить слова не смог, точнее, не захотел смочь, но с некоторым изумлением наблюдал по телевизору, как какой-нибудь хозяин заводов, шахт, пароходов или министр культуры с гордостью, но, главное, без запинки называли себя этим *перфе*... *фици*... еще чего-то... Чудесная, талантливая и кудрявая девочка была как раз из этих несчастных «перфе...».

Плюсквамперфект! – вот что внезапно выпало из древних отложений в гусовских мозгах. Так называлось какое-то сложное немецкое время, то ли прошлое в будущем, то ли, наоборот, будущее в прошлом... Он когда-то учил немецкий, и выучил – на четверку в аттестате зрелости. «Вот!.. Этих, жаждущих тотального совершенства, можно звать попросту плюсквамперфекционистами! Чего легче!» – сердито подумал Николай Янович.

Еще он подумал про Тимохиса.

* Скорее всего, речь идет о перфекционистах, людях, убежденных, что несовершенный результат работы не имеет права на существование.

Он про него вспоминал часто. Мальчик особенно-то не блистал, разве что очень быстро выучивал этюды Черни и прочие пьесы для второго класса. Вначале, то есть в октябре еще, для завуча и некоторых учителей выяснилось, что Тимохис был, как говорится, «неразвитый и запущенный». Гус такого рода выражений терпеть не мог, его самого однажды так аттестовали, вот тогда из его туманных глаз, возможно, и вылетело несколько молний в обидчика... Гус вспомнил, это была его теща. Она так шутила. Что-то по поводу его незнания правил поведения за столом. А он и не собирался их знать!.. Но ничего-то он теще не ответил, потому что очень, очень любил ее дочь...

С Тимохисом был случай особый. Как-то прослушав в его исполнении детский чудесный этюдик Шопена, Гус посмотрел на мальчика с тоской и спросил:

– Скажи, ты и Шопена можешь сыграть задом наперед?..

Тимохис кивнул.

– А зачем?.. – как бы удивился учитель.

Ученик молчал.

– Ты думаешь, все можно задом наперед? Все-все?..

Тимохис отвернулся. Николай Янович вздохнул. Но не сдался.

– Ну, ладно. Понимаешь, музыка как стихи. И то и другое – написано людьми и для людей. Все мы живем от начала к концу. И только так, в этом всеобщем направлении мы можем слышать, понимать и музыку, и поэзию... Порядок слов и порядок нот – это очень важно... Давай проверим. Ты какие-нибудь стихи знаешь? Хотя бы Лермонтова?.. Или другого автора, но чтоб стихотворение, настоящее... Прочти мне.

Тимохис как-то напрягся, потом вроде бы глубоко задумался, глядя, как всегда, в окно. И все-таки повернулся к учителю, мельком глянув ему в глаза, ускользая, отворачиваясь.

– Знаю. Про город Губаху.

Ответил и сразу прочел:

Город Губаха не Синяя птица,
В небо ему не взлететь!..
К парку Гагарина сердце приварено,
Здесь нам жить и петь.

Он снова вскользь посмотрел на Гуса и неожиданно, впервые попытался что-то объяснить:

– Дядя Толя написал, напечатали в газете «Шахтер Губахи».

– Это единственное?.. Или он еще чего-то пишет?.. – осторожно спросил Николай Янович.

– Писал... – быстро ответил Тимохис. – Про парус... *белеет парус одинокий в тумане моря голубом...* Он мне много читал, я... не запомнил. Только про город Губаху. Напечатали в черной рамке, с портретами всех, кто из Северной не поднялся. Я вырезал. В мае будет год.

От мальчика вдруг холодом пахнуло... А учитель забыл о порядке слов в стихах и не стал расспрашивать дальше.

В нотном отношении Тимохис оказался безграмотным вполне. Непонятно даже, учился ли он хотя бы в подготовительном классе музыкальной школы. Он был настоящий «слухач». С этим явлением Гус был знаком и не удивился. В Марьиной роще, где он родился и где они с мамой долго жили после войны, был один такой слухач, контуженный фронтовик. Услышит первый концерт Чайковского по радио – и пожалуйста, наявивает, сидя под липой на лавочке, – играет со страстью на трофейном баяне. А где что не удалось запомнить – бурно импровизирует... Но задом наперед тот слухач не играл никогда. И так неплохо зарабатывал, и был всегда под мухой. Дядька действительно любил музыку...

А что с Тимохисом? Учитель видел и слышал – этот мальчик еще ни разу не полюбил ни одну из пьес, которые так споро и точно разучивал. Грамоту нотную он, конечно, почти сразу освоил, буквально за неделю, чем обнадежил и утешил завуча, и по сольфеджио пошел лучше многих. А вот в хоре не пел, только вид делал, по принципу «открывает рыба рот, а не слышно, что поет»... Завуч предупредила преподавателей, что у мальчика была психологическая травма, что-то там стряслось в его Губахе, на шахте Северной... Так что, по классу хора к Тимохису «с пением» не вязались, открывает рот – и ладно... хотя бы не врет...

И Николай Янович с «любовью к музыке» к мальчику не вязался. Но ждал. Зачем-то же были даны Тимохису такие руки, такой слух и такая музыкальная память. Что же до любви... Бы-

вает, что бодливой корове Бог рог не дает. А бывает, что рога-то есть, а корова не бодливая... Так учитель думал некоторое время, пока не услышал стихотворение про город Губаху, который не Синяя птица... Сейчас, апрельским серым днем идя на работу, он пытался припомнить: когда же из уст Тимохиса прозвучало про парк Гагарина?.. Не мог вспомнить. Но неожиданно догадался, что сердце было приварено к парку не только у дяди Толи, но и у маленького Тимохиса... Перед экзаменами за первое полугодие! Вот, все-таки вспомнил – когда... И привычная мысль промелькнула: *быстро время бежит...* Даже и не мысль, просто вздох вырвался.

Ударил колокол.

И совсем не громко, просто гулко. Гус остановился. Увидел: слева желтеет большая церковь, в ней когда-то венчался Пушкин... Огромный негромкий звук осязаемо отдался во всем старом теле учителя, особенно в ноющем колене, но и в сердце, и в голове. Звук совсем замер, когда снова ударил колокол. «Страстная пятница?» – сам у себя спросил Гус и не смог ответить.

Он знал, что его, с молчаливого согласия партийной матери, крестила няня. Няня и рассказала, что он крещеный, когда Николаенька уже совсем вырос. В шестидесятые на книжном развале он купил Евангелие, иногда его перечитывал. Изумительно короткая, и притом огромная книга!.. А в церкви Гус и не бывал почти... Вот и все.

Колокол ударил в третий раз. *В Средние века считалось, что колокольный звон препятствует распространению эпидемий чумы и холеры...* – вспомнил Николай Янович. И тут же сказал вслух:

– Верю!

Он посмотрел на часы. И с удивлением обнаружил, что до начала занятий оставалось полчаса, а школа-то оказалась совсем уж рукой подать, можно было совершенно не спешить.

Да ведь он же и так не спешил...

«Как же это?! – вдруг взволновался Гус. – Совсем я умом еду...»

На светофоре замигал зеленый человечек, но Николай Янович через улицу не пошел, остался стоять. «Что же это? – с глубоким

недоумением снова спросил себя он. – Как же случилось, что образовалось «лишнее время»? Когда?..»

Его ноги лучше него самого знали путь и время до школы. Они никогда не ошибались и всегда приводили учителя за пять минут до начала занятий. Он посмотрел на свои ноги. Николай Янович не помнил, чистил ли башмаки сегодня, и убедился, что чистил...

И вдруг, неизвестно почему, но с огромным облегчением догадался: время отмоталось задом наперед – в точности, как танец маленьких лебедей у Тимохиса!..

Он покраснел от волнения, и глаза его стали сизыми, грозowymi.

Вот это да! Вот это прозрение...

Дело было вот еще в чем.

Вирус Тимохиса в школе все-таки кое-кого затронул. Самого Гуса Николая Яновича. Все зимние месяцы именно Николай Янович Гус, он один из всей школы, как дурак, по вечерам у себя дома пытался задом наперед сыграть хоть какое-нибудь произведение из тех, что прочнее прочного сидели в его памяти, в его узловатых пальцах. Но пальцы, как он ни бился, не могли играть ноты в обратном направлении, просто – не желали! Видимо, они вот уже больше полувека играли не ноты с листа, а именно музыку. Как и тот контуженный слухач из послевоенного детства, он ведь играл не по нотам – по музыке... А Тимохис из Губахи? Он, значит, играл и играет только – ноты? Да ведь он же их и не знал... Стало быть, по-своему знал. Пальцы знали, кисти рук знали: каждая клавиша – нота.

Но к самому Тимохису из Губахи прекрасные его руки словно и отношения не имели. Как какому-то механическому пианино, им было все равно, в каком направлении играть, что *туда*, что *обратно*... Как ногам Гуса – что на работу идти, что домой... «Но все-таки, – продолжал рассуждать потрясенный Гус, – вот я же *знаю*, *зачем* иду в школу! Мне все же *туда хочется* идти. В школе ученики, я помню их уши и пальцы, они – *мои ученики!*..» Гус оглядел пустую дорогу и перешел наконец на другую сторону на красный свет светофора. Перешел и снова остановился, чтобы вспомнить о том, зачем он после работы *хочет домой*. А затем *хочет*, что дома был *его собственный* старенький и любимый рояль, был кофе –

сколько хочешь и любой крепости, коньячок, кое-какая закуска... Книжки. Свои, живее живого, воспоминания. И огромный зоопарк под окном...

Вот что случилось: Гус *понял* Тимохиса из Губахи. У Славы Тимохиса *своим* было только *прошлое*. И оно оборвалось, сломалось, исчезло в один страшный миг. Тимохис *хотел – туда*. За этот миг. Туда, где дядя Толя писал стишки и работал на Северной, и папа с мамой ругались-мирились, дарили подарки, отчитывали за двойки-тройки, гордились его музыкальными успехами, работали на той же Северной... просто – жили. *Жили*. И все друзья-товарищи, и расстроенное фортепяно, и кличка Мацарт, и вся Губаха, и парк Гагарина были *свои*. А смерти – не было. Вообще никакой смерти.

Руки Тимохиса, отматывая от конца к началу музыку, пытались отмотать время, *туда – за смерть, за разлуку, к жизни*.

А сам Гус?.. Он не просто так подхватил *вирус Тимохиса*, каждый день пытаюсь хоть что-нибудь, да сыграть *вспять*, к рождению, к началу, а не к концу... Он бился над этой нелепостью, как давно ни над чем не бился. Ему чудилась в ней не просто «ловкость рук», а – тайна. Как в «Пиковой даме» Пушкина. В совершенно неузнаваемой, зеркальной музыке как будто тайна времени скрывалась... и тайна старости. Немного отмотать времени... Как после войны отматывали электричество на счетчике...

Снова ударил колокол. Все на той же ноте, с которой начинается траурный марш Шопена. «Конечно, Страстная пятница... день, когда Бог умер, и время остановилось...» – подумал Гус и поспешил к школе.

В этот день у Тимохиса не было занятий по фортепиано, был хор и сольфеджио. Гус, идя на перемене по коридору, встретил его и остановил:

– Тимохис, после хора зайди ко мне на минуту.

Мальчик пришел. И снова смуглая пятниклассница сидела за дальним роялем, а Тимохис почти так же смотрел в окно, как полгода назад. Гусу показалось, что время не то чтобы пошло *вспять*, но совершило магический круг... И это придало ему уверенности.

Окно на этот раз было открыто – к вечеру с небес брызнуло солнце, а в школе продолжали вовсю топить, и, чего уж Николай Янович не мог терпеть – стояла духота. Он внимательно посмотрел на Тимохиса. Тот подросток, из рукавов синего школьного пиджака торчали уже не только кисти рук, но и тощие запястья.

– Вот что, Тимохис, я дам тебе одну пьесу выучить, вне программы. Ее только в конце третьего класса ученики обычно разучивают. Это Иоганн Себастьян Бах. Называется «Сарабанда». Слышал о Бахе?

– Слышал, – ответил Тимохис. – Бах в переводе с немецкого значит ручей.

– Вот-вот. Ручей, – подтвердил Гус. – Выучи «Сарабанду», когда сможешь. Думаю, тебе особого труда не составит... Вещь, в сущности, несложная. Танец.

– Танец? – Тимохис не ждал, брови его поднялись.

– Старинный испанский танец, сначала народный, потом во дворцах всей Европы стали его танцевать... А Бах на его основе создал... – Гус стремительно сел за рояль, – вот послушай.

Николай Янович сыграл «Сарабанду» почти до конца, остановился на полупhrазе.

– Чувствуешь? Не просто танец, а как будто негромкий разговор между двумя людьми идет, и все, вроде бы, по кругу, по кругу, и так легко... но про что-то очень важное. Самое важное... Тема повторяется, но как бы вдруг подпрыгнет чуть-чуть и слегка изменится... Послушай...

Гус доиграл до конца.

Тимохис, как показалось Николаю Яновичу, слушал внимательно. И на руки учителя, пока тот играл, смотрел внимательно. Но потом снова повернулся к окну. Николай Янович расстроился.

– Что ты там разглядываешь? – спросил он ученика.

– Пальму.

Гус и смуглая девочка посмотрели туда, куда смотрел Тимохис.

В доме напротив на не застекленном балконе третьего этажа стояла пальма в кадке. В луче закатного солнца она выглядела роскошно: отросшие старые листья блестели, а из макушки нахально торчал пучок совсем свежих побегов, едва начавших раскрываться, как крохотные веера.

– Я ее помню, – неожиданно подала голос смуглая девочка. – Осенью она тут стояла, совсем облезлая. Я думала, ее выбросили.

– Нет, – нахмурившись, сказал Тимохис, он, казалось, был недоволен. – Не выбросили. А за зиму в тепле она вон как очухалась. Хоть бы чё.

– Странно, – сказала девочка. – Ты как будто не рад. Радовать-ся надо.

– Дура! – крикнул Тимохис. Он схватил ноты «Сарабанды», подбежал к окну и выпрыгнул на низкий подоконник полуоткрытого окна.

– Дура! – крикнул он снова. – Что ты в этом понимаешь!

И выпрыгнул в окно.

Этаж был цокольный, до асфальта метра два или чуть меньше. Старшеклассники, экономя время, и просто из озорства таким образом иногда выходили из школы. Гус это отлично знал. Но тихий замкнутый второклассник? И при учителе... Это был бунт!..

Но бунт не всегда безобразие... Нет, Николай Янович не был уж очень взволнован. Но, сидя перед роялем на вращающемся табуриете, он почувствовал, что лучше ему не вставать. Ноги стали внезапно ватными. Он осторожно повернулся к девочке и сказал:

– Ничего-ничего, милая. С мальчиками это бывает... А у этого мальчика около года назад случилось горе. Ничего, это пройдет. Ступай, милая, на сегодня все.

В этот вечер он с трудом добрался до дому, где выпил коньяку чуть больше обычного и рано уснул.

Наутро он проснулся совершенно выспавшийся и бодрый. Может быть, потому, что ему приснилась мать. Ему приснилось, что она в раю и вся светится. Собственно, она не очень-то и была похожа на его маму, партийного работника среднего звена. Но во сне он точно знал, что это – она.

Она ему что-то сказала, что-то важное, и неожиданно просто, по-человечески. При жизни за нею это редко водилось, только когда он болел. «Может, я болен? – спросил у себя Николай Янович. И сам же ответил: – Конечно, болен. Болезнь называется старость». За окном обычной своей утренний жизнью жил зоопарк. Дворник поливал из шлангов водой асфальт, смотрители зоопарка

расходились по вольерам, перекликаясь между собой и разговаривая с питомцами, слышно было, как хищники, кто с нежным, кто со свирепым урчанием получали мясо, где-то в закрытом помещении трубил слон... День начинался ветреный, ветер рвал облака, и сквозь них пробивались косые лучи апрельского солнца. «Надо будет сходить в церковь», – неожиданно сказал себе Гус. На завтрак он сварил себе овсянки, выпил большую кружку кофе... Затем достал из холодильника три яйца, отварил их вкрутую, остудил холодной водой. Затем покрасил их тремя ходовыми своими фломастерами – в красный, синий и зеленый цвета, Покрасил неровной дырявой штриховкой и сказал себе: «Бог простит!».

И сел за рояль. Когда начал стареть, он положил себе за правило каждым утром проигрывать часть своего старинного репертуара. Сегодня у него было утро Шопена.

Настало время идти в школу. На этот раз он дошел спокойно, не останавливаясь, не разговаривая сам с собой. И день прошел как день, ученики в меру торопились, в меру ввали, в меру теряли темп и, в общем, все старались. Последнее занятие было с Тимохисом. Он пришел хмурый и спокойный, можно сказать, деловитый. Ни ученик, ни учитель о вчерашнем не вспоминали.

– Ну, с чего начнем? – спросил Гус. – С Черни?.. Или с Кабалева?

– С Баха... – сказал Тимохис.

– Подготовил? Не торопись?.. – учитель посмотрел на него внимательно. – Значит – «Сарабанда». Давай.

Тимохис, как обычно, небрежно и бочком сел к роялю, открыл крышку и хотел сразу начать, но Гус хлопнул его по спине и строго скомандовал:

– А ну-ка, сядь, как я тебя учил! Расправь плечи, дыши свободно. Так... Никуда не спеши. Это танец неспешный, и – главное – разговор, разговор неспешный, понимаешь?.. О жизни и смерти. Вот так. Ну, начинай.

И учитель с учеником погрузились в Баха.

Тимохис со вчерашнего отлично запомнил ноты, но на этот раз расслышал, похоже, еще что-то. Его длинные крепкие точные пальцы играли еще не музыку, но именно разговор. Бессловесный, бесконечно честный, как это всегда было у Иоганна Себастьяна

Баха. Разговор с Богом. Тимохису из Губахи, видимо, тоже было что сказать Богу, и если раньше он не знал – как, то сейчас, вместе с Бахом, у него начало получаться... У него спрашивали – и он отвечал, он спрашивал – и ему отвечали. Нет-нет, до музыки было еще далеко, слишком много личного, слишком горьки обида, горе, разлука, безвыходность, окончательность смерти. Но жизнь и любовь уже поджидали, уже давали надежду бессмертной душе. Гус с учеником повторяли отдельные пассажи, учитель сердился:

– Не на ксилофоне играешь, не брякай... Забудь ты ноты, ты их уже знаешь! Музыку слушай!.. Вот здесь вот, тебя спросили – отвечай. Только не ври!

Николай Янович отодвигал руки Тимохиса и сам показывал – как спросили, и где начался ответ. И Тимохис его начинал понимать, и они двигались дальше.

Оба были если уж и не счастливы, то заняты бесконечно. И Тимохис заглядывал, заглядывал в глаза учителя, и получал ответ. В этот вечер в этом мире у него появился свой учитель.

Они засиделись допоздна, школа почти опустела. Вышли вместе, дошли до церкви, у которой накануне, в Страстную пятницу, Гус понял Тимохиса из Губахи. В этот вечерний час резко похолодало.

– Давай-ка зайдем, – сказал Гус ученику. – Я сегодня мать во сне видел, что она в раю... Ты в церкви на Пасху бывал?

– Нет, – ответил Тимохис. – Был только, когда сестренку крестили... Она сейчас в детском доме.

– Ну, пойдем.

И они вошли. В просторной гулкой высокой церкви было темно, лишь лампы светились, и народ еще только начал собираться. Молодой священник читал из Евангелия о Крестном пути, о снятии с креста, о положении во гроб, и Гус почувствовал, что мальчик напрягся. Но потом расслабился и как будто заскучал. Не все было понятно в словах, произносимых под гулким куполом на почти что родном, но загадочном, странном языке, только изредка понятном вполне. Но в этом звучном умалчивании, в этих пропусках понимания была тайна, и тайна была важна, она содержала, казалось, больше, чем смысл... Но мальчик устал.

– Пойдем, присядем, – позвал Гус.

Они нашли свободную лавочку, и время вдруг побежало незаметно. Николай Янович, как мог, рассказывал Славе Тимохису из Губахи Евангелие, а Слава слушал, слушал и клевал носом, Гус останавливался, но Слава просил рассказывать дальше, и Гус рассказал про тридцать сребреников и про Иудов поцелуй, про Пилата и про двух апостолов, заснувших в Гефсиманском саду, хотя Он просил их не спать, и про Петра, трижды отрекшегося от Христа, и что Иисус знал про это заранее, и заранее простил. И как Иисус нес свой крест и был распят, и умер. И как воскрес, и даже верующие в Него не все и не сразу поверили в Его воскресение, и про Фому Неверующего, как он убедился и поверил... Церковь между тем полнилась людьми, многие шли с детьми. Николай Янович спохватился и пошел покупать свечи, Слава потянулся за ним, свечи они зажгли и поставили у Распятия – в память всех, кто погиб на Северной шахте, и в память матери, приснившейся Гусу. В центре, под куполом, стали собираться священнослужители с хоругвями, среди прихожан началось брожение, вокруг затеплились свечи, и вдруг все тронулись в полумраке, пошли за хоругвями к выходу. Раздался громкий возглас:

– Господу нашему помооооооимсяаа!

И во всей процессии с огоньками свечек вначале вразнобой, потом все стройнее люди запели короткий стих, слов которого не знал ни учитель, ни ученик, но Гус с изумлением услышал, как Слава стал без слов подпевать. «Будет петь!» – подумал Николай Янович и перекрестился, сам не зная, почему.

Они шли вместе со всеми вокруг церкви, свечи на холодном ветру гасли, но люди передавали друг другу огонь, так что свет в крестном ходе ходил ходуном, но не прекращался, и от этого становилось весело... А в опустевшей темной церкви что-то вдруг произошло, какое-то огромное счастье, и там грянул хор певчих, и начал разгораться свет, радость прошла по тем, что шли в темной холодной ночи вокруг храма, и все запели громче: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробе живот даровав!»... Бойкий радостный перезвон колоколов грянул, а когда Гус с мальчиком подошли к крыльцу, там уже стоял огромный диакон в золотой рясе и возглашал гудящим басом:

– Христос воскресе!

А народ радостно отвечал. Гус услышал, как вместе со всеми кричит его ученик:

– Воистину воскрес!

И щедрые потоки святой воды, распадаясь на сверкающие капли, разлетались с как бы малярной кисти пономаря. И радость обретенного бессмертия переполняла всех, каждого...

После крестного хода Гус с Тимохисом в церковь не пошли. Мальчик еле на ногах держался.

– Ты с утра ел что-нибудь?

– Нет, – ответил Тимохис.

Николай Янович вызвал такси, оно пришло через пять минут. По дороге к интернату Гус вспомнил о крашеных яйцах в своем портфеле. Они съели по яйцу, Тимохису досталось красное, Гусу – синее. А третье, зеленое, они отдали таксисту-киргизу...

– Спасибо, – сказал киргиз и положил яичко в нагрудный карман.

А засыпающий Слава Тимохис неожиданно сказал:

– «Спасибо» значит «спаси Бог»... бабушка говорила.

Прошлое соединилось с будущим, и время потекло, как река, как музыка, как жизнь, как сарабанда.

